

Вяземский П. А.

Характеристические заметки и воспоминания о графе Ростопчине.

I.

Граф Ростопчин будет известен в истории, как Ростопчин 1812-го года, Ростопчин Москвы, Ростопчин пожарный: нечто в роде патриотического Эрострата, озарившего имя свое заревом пожара; но место, занятое в истории нашим Эростратом, почетнее места отведенного Ефезскому.

Между тем в графе Ростопчине было несколько Ростопчиных. Подобная разнородность довольно присуща русской натуре. У нас мало цельных личностей; избраннейшие из русских бывают, более или менее, готовы на все руки. Можно разделить нас на два разряда: люди на все годные, и люди ни к чему неспособные. Которых более: это другой вопрос, на который ответа не даем. Дело в том, что мы редко готовимся предварительно к чему-нибудь определенному. Такой у нас уже климат. В течении года у нас много коротких дней: и в жизни нашей также. Воспитание не успевает перерождать нас, мало успевает и обогащать. *Некогда* есть роковое слово, которое часто у нас слышится. Как бы то ни было, мы создания, или издания, не специальные, а более энциклопедические и эклектические. Мы справочные словари, а не трактаты. В избранных натурах подобная смесь, подобная плодородность имеют достоинство свое, но имеют свои невыгоды и недостатки. Такое явление бывает обыкновенно принадлежностью молодых гражданских обществ, которые воспитанием и образованностью еще нестрого распределены на известные участки; экономическое правило *разделения работы* есть уже следствие и плоды позднейших опытов и установившагося порядка. Первообраз нашей образованности, нашего просвещения, есть всесторонний Петр I. Он был и воин, и мореходец, и плотник, и *химик*, и *ботаник* домостроитель и заводчик, и так далее, и так далее: все что угодно, все что на мысль придет. Когда барыня Россия попросит весь туалет: он, коллективное лицо, является один на призыв ее.

Петр был державный Робинзон Крузоэ, на своем необитаемом острове. Правильно, или нет, это опять другой вопрос, на который также отвечать не беремся; но Петр и Россию свою признавал пустынным островом, и порешил превратить его собственноручно в Европейский вертоград. Сказано и сделано.

В Ростопчине, сверх этой русским свойственной восприимчивости и гибкости, была еще какая-то особенная и крепко выдающаяся разноплеменность. Он был коренной русский, истый Москвич, но и кровный Парижанин. Духом, доблестями и предубеждениями был он того закала, из

котораго могут в данную минуту явиться Пожарские и Минины; складом ума, остроумием, был он, ни дать ни взять, настоящий Француз. Он французов ненавидел и ругал на чисто-Французском языке; он поражал их оружием, которое сам у них заимствовал. В уме его было более блеска, внезапности, нежели основательности и убеждения. Парафразируя известное изречение, можно сказать о нем: grattez le Russe, vous trouverez le Parisien. Или: grattez le Parisien, vous trouverez le Russe, grattez encore, vous retrouverez le Tartare. Что ни говори, а в нашем Парижанине отсело несколько крупных капель Тамерланской крови. Впрочем он сам не отрекался от Татарскаго происхождения; под одним из портретов своих написал он:

Je suis ne Tartare
Et j'ai voulu etre Romain;
Les Francais m'ont fait barbare,
Et les Russes Georges-Dandin.

Он же рассказывал, что Император Павел спросил его однажды:

-- Ведь Ростопчины Татарскаго происхождения?

-- Точно так, Государь.

-- Как же вы не князья?

-- А потому, что предок мой переселился в Россию зимою. Именитым Татарам-пришельцам, летним цари жаловали княжеское достоинство, а зимним жаловали шубы.

Можно бы до бесконечности продлить список разнородных качеств, аномалий, антитез, междоусобных стихий, которые составляли личность Ростопчина. Не думаю, чтобы в нем была основа государственного человека, не в общем смысле слова, а в частном применении его. Мы часто называем государственными людьми ловких и удачно возвысившихся чиновников. Истинные государственные люди редки. История считает их много что десятками. Государственный человек есть тот, который, участвуя в общественных делах, оставляет по себе на государстве след, если не вечный, то прочный и многознаменательный. Но Ростопчин мог быть хорошим администратором; он имел русское чутье, русскую сноровку и много родственного с народом. Не будь он так страстен, запальчив в мнениях и суждениях своих, он был бы отличный дипломат. Продолжал бы он военную службу, он, без сомнения, внес бы в летописи наши имя храброго, распорядительного, энергического военачальника. В годы отдыха или опалы, когда он жил в деревне, он с любовью и деятельностью занимался сельским хозяйством: делал изыскания, обращал внимание на улучшение полевых работ, выписывал из-за границы сельские орудия и пытался усвоить их русскому работнику. Улучшение нашего скотоводства, и особенно коннозаводства, входило также в круг любимых забот его. Он был противник освобождения крестьян, по крайней мере при современном ему положении России, но разумеется, не был из числа так называемых *крепостников*, против которых,

задним числом и задним умом, так еще горячатся публицисты и повествователи.

При других обстоятельствах и другой обстановке жизни мы могли бы иметь в Ростопчине писателя замечательного и первостепенного, подражателя и исполнителя школы Ф. Визина: ум и способности его были еще более гибки, оригинальность более разнообразна, веселость еще более общительна, особенно слово его было более бойко, едко и взрывчато, чем у самого Ф. Визина. Все написанное Ростопчиным, начиная с путевых записок 1786 г. до позднейших очерков пера его, носит на себе неизгладимый и всегда неизменный Ростопчинский отпечаток. Тут не ищи автора,-- а найдешь человека. Язык часто неправилен, слог не обработан, не выдержан; но читатель от того не в убытке. Там где писатель хочет авторствовать, как в некоторых отдельных произведениях, например *Le mystere des forets, ou L'arbre bavard, La verite sur l'incendie de Moscou*, даже и комедия его "Живой убитый" (кажется так, имею под глазами один Французский перевод), все это слабее, безличное. Не слышишь грудного голоса, не видишь перед собою живого человека, каков он есть. Видишь автора, следовательно более или менее лице условное, то есть актера. Ростопчин хорош и замечателен, когда он мыслит и пишет *в слух*, когда он тот же любимый и воссозданный им Сила Андреевич Богатырев. Искать его надобно особенно в письмах его. Переписка его с графом С. Р. Воронцовым {В VIII-й книге Архива Князя Воронцова.} -- это горячий памфлет; но памфлеты обыкновенно и пишутся сгоряча на нескольких страницах, на известное событие, или по известному вопросу. А здесь памфлет почти полувековой и ни на минуту не остывающий. Живое отражение современных событий лиц, городских слухов и сплетней, иногда верное, меткое, часто страстное и вероятно не вполне справедливое, придает этой переписке, особенно у нас, характер совершенно отличный. Нельзя оторваться от чтения, хотя не всегда сочувствуешь писавшему; нередко и осуждаешь его. Многому научишься из этой переписки, за многое поблагодаришь; но общее, заключительное впечатление несколько тягостно. Бранные слова так и сыплются: он за ними в карман не лезет; они натурально так и брызгают с пера. Не хотелось бы помянуть покойника лихом, а невольно скажешь, что он был большой ругатель; но вместе с тем признаешь, что ругательство его часто очень забавно, и пришлось бы сожалеть, если бы он менее ругался.

Отрывок его: "Последний день Екатерины II и первый день царствования императора Павла", это яркая, живая, глубоко и выпукло вырезанная на меди историческая страница. Не знаю, оставил ли он по себе поденные памятные записки свои; но, если они были написаны таким мастерским пером, как вышепомянутый отрывок, с тою же живостью и трезвостью, то нельзя не позавидовать потомкам, которые, в свое время, могут прочесть эту книгу.

Монархист, в полном значении слова, враг народных собраний и народной власти, вообще враг так называемых либеральных идей, он с ожесточением, с какою-то монотониею, *idee fixe*, везде отыскивал и преследовал Якобинцев и Мартинистов, которые в глазах его были те же

Якобинцы. Когда в 1812-м году Жуковский поступал в ополчение, Карамзин, предвидя, что едва ли выйдет из него служивый воин, просил Ростопчина прикомандировать его к себе. Ростопчин отказал, потому что Жуковский заражен Якобинскими мыслями. К слову пришлось: скажу, что и я подвергся такому же подозрению. В одном письме его нашел я следующую заметку о себе: "Вяземский, стихотворец и Якобинец". А между тем, в нем самом, при данном случае, мог бы народиться народный трибун. В нем были к тому и свойства, и замашки. Его влекло к черни: он чуял, что мог бы над нею господствовать. *Мысли в слух на Красном крыльце* и так называемые *Московские афиши* могут подтвердить подобное предположение. В них речь обращается почти исключительно к народу, то есть к той среде, которая у Французов называется *populace*, а у нас должна называться чернь. Действие этих афишек было различно оцениваемо в Московском обществе. Жуковскому они нравились; Карамзин читал их с некоторым смущением; хотя и *Якобинец* по приговору Ростопчина, я решительно их не одобрял, и именно потому, что в них бессознательно проскакивали выходки далеко не консервативные. Мне тогда казалось, как и ныне кажется, что правительственным лицам, в каких бы то обстоятельствах ни было, не следует обращаться к толпе с возбуждительною речью. Во-первых толпа редко принимает и понимает их в том значении и в тех пределах, в которых они сказаны; толпа всегда готова перейти за эти пределы. Во-вторых это -- подливать горячее масло на горячие вещества, а в таких веществах нигде нет недостатка. Разумеется, в этих афишах или, так сказать, приказах по Москве, было много и хорошего и к цели идущего, то есть, к сохранению спокойствия в столице; но бывали и обмолвки, которые могли прямо нарушить это спокойствие. В одной из афиш смеется он над мужьями, которые в виде *будущих* (выражение, употребляемое в подорожных) выезжают с женами своими. Смеяться тут нечего. Нельзя требовать поголовного героического населения. Выезжать из города, угрожаемого неприятельским нашествием, дело довольно обыкновенное и благоразумное {Напомним читателям, что высокоуважаемый автор участвовал в Бородинском бою, и под ним убиты были в этот роковой день две лошади; см. его "Воспоминания о 1812 годе" в Русском Архиве 1869 года. П. Б.}. В другой афише сказано (пишу с памяти, но, если не буквально, то приблизительно верно): "хватайте в виски и в тиски и приводите ко мне", хоть будь кто семи пядей во лбу; справлюсь с ним". Эти *семь пядей во лбу* никого иначе означать не могут, как дворян, людей высшего разряда. После такой уличной расправы недалеко и до смертоубийства, особенно если *семипяденный* станет отбиваться и защищаться. Многие кровавые государственные перевороты происходили из подобных неожиданных столкновений. Москва от копеечной свечки сгорела, говорит народная поговорка. Русский Бог, позднее, не спас ее от пожара; по, по крайней мере, до пожара спас он ее от междоусобицы и уличной резни. Впрочем некоторым даром не обошлось. Довольно немцев поколотили, под предлогом, что они шпионы; были и русские жертвы. Дворянин (кажется Чичерин) был признан толпою за шпиона и крепко

побит за свое заpiresательство; а заpiresательство его заключалось в том, что он был глух и нем от рождения.

Ростопчин был темперамента нервного; раздражительного, желчного. Мы это видим из писем его и частых жалоб на худое здоровье. По многим свидетельствам можно было бы заключить, что он был натуры ненавистливой, неуживчивой, строптивой, не податливой. Да и нет. Продолжительный и неизменчивые связи его с людьми, каковы кн. Цицианов, герой Кавказа, гр. Воронцов, гр. Головин, Карамзин и другие, доказывают между тем, что он был одарен сердцем способным любить и счастливо выбирать друзей своих. Другие, второстепенные личности, из приближенных к нему по случайностям службы, или другим частным обстоятельствам, по крайней мере некоторые из них, пользовались приятелью и покровительством, его, долго по прекращении этих связывавших обстоятельств. Отношения подчиненных или обязанных лиц к начальнику или милостивцу, переживающие самые интересы этих отношений, могут часто служить осёлком и мериллом для нравственной оценки тех и других. Прежде это было так; ныне это общинное, круговое начало ослабило. Начальники еще есть, пока они начальники: но о милостивцах совестно и помянуть. В наше время закидают.

Служба Ростопчина при Императоре Павле неопровержимо убеждает, что она не заключалась в одном раболепном повиновении. Известно, что он в важных случаях оспаривал с смелостью и самоотвержением, доведенными до последней крайности, мнения и предположения Императора, которого оспаривать было дело нелегкое и небезопасное. Вероятно, бывали у него и тогда минуты, когда дело шло о сожжении кораблей своих, как позднее о сожжении Москвы; но решимость никогда не изменяла ему, когда была вызываема обстоятельствами и тем, что он признавал долгом чести и совести. Благодарность и преданность, которые сохранил он к памяти *благодетеля* своего (как всегда именует он Императора Павла, хотя в последствии и лишившего его доверенности и благорасположения своего) показывают светлые свойства души его. Благодарность к умершему, может быть, доводила его и до несправедливости к живому. Нередко в суждениях его о Императоре Александре отзываются горечь и суровость, которые производят прискорбное впечатление. Вообще, нечего сказать, не был он ни оптимист, ни благоволителен к людям. Мольер нашел бы в нем Альцеста своего. Уже в молодости пробивалось презрение его к людям. Чем далее углублялся он в жизнь и в общество или, скорее, в столкновение с людьми, тем более росло во всеоружии своем и резче выражалось это прискорбное и, можно сказать, болезненное свойство. Презрение к людям, то есть к подобным себе, может быть недуг наносный, которым заражаешься от пагубного прикосновения к другим; но может быть оно недуг и внутренний, спорадический, самородный; тогда зарождается; он от внутреннего разлада, от того, что человек более или менее недоволен сам собою. Избыток собственного неудовольствия разливается на других. Этим вымещает на других, с больной головы на здоровую, чувство скорби и досады на себя.

Карамзин сказал:

Кто в мире и любви умеет жить с собою,
Тот радость и любовь во всех странах найдет.

Эти два стиха прозрачно вылились из чистой и безмятежной души. При всем уважении ко многим личным достоинствам Ростопчина, позволю себе сказать, что именно этого мира, этой любви в нем, вероятно, и не было. Правда и то, что жизнь одного не походит на жизнь другого. Карамзин вел жизнь философическую: Ростопчин боевую, и такую боевую, которая далеко оставляет за собою ратную жизнь на полях сражений. Нравственная борьба с людьми, событиями и тайными враждебными силами на поприще придворной жизни и государственной деятельности, тягостнее всякой физической и телесной борьбы. Это школа, в которой можно приобрести много мужества и опытности, но можно растратить в ней и много из своих внутренних сокровищ. Эта школа великая наставница, но не редко и великая возмутительница.

Сказать - ли? Вообще, мы недовольно проникнуты нравственною мудростью Ефрема Сирина: "даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего". Вся сила заключается в этих немногих словах: ею пресекается взаимная вражда, и зиждется мир в человецех благоволения. Пушкин, который стихами парафразировал эту молитву, говаривал, что она так и дышит монашеством. Мне кажется, что в ней есть общее человеческое чувство, общая жалоба человеческой немощи, призывающей свыше силу, которой она в себе не находит. Эта молитва,--сокращенный курс житейской нравственной мудрости, равно пригодный и для монаха, и для мирянина, для христианина и для язычника.

Между тем, этот Ростопчин-мизантроп, отыскивающий в людях пороки, как астроном отыскивает в солнце пятна, не был вовсе Ростопчин-нелюдим. Напротив, ему нужно, необходимо было сообщество людей, может быть, как хирургу-оператору нужна клиника. Впрочем, это предположение, вероятно, слишком изысканно и сурово. Скажем проще: уединение, отшельничество не могли ладить с натурою его; он любил быть действующим лицом на живой и светской сцене; ему, как актеру, отличающемуся великим дарованием и художеством, нужны были партер и ложи, занятые избранными и блестящими слушательницами. Особенно дорожил он последними. Уже кем-то было замечено, что люди, прошедшие чрез пыл общественной, государственной деятельности и чрез пыл и тревогу событий, особенно любят женское общество. Честолюбие не мешает быть волокитою и сердечкиным. Посмотрите на Потемкина. В письмах к одной из своих приятельниц, называет он ее: "моя улыбочка!" Сколько поэзии в этом сердечном и шуточном выражении, и как неожиданно оно под пером великолепного и честолюбивого князя Тавриды. Не знаю, был ли Ростопчин способен на такую поэзию; но по многим данным можно заключить, что и он не был равнодушен к женской улыбке.

Также, не знаем, чем был он дома по утрам; но вечером, в избранных салонах, был он душою общества. Он прекрасно владел даром слова, по-русски и по-французски. При нем, охотникам говорить самим было мало простора. Да

и невыгодно было бы вступать с ним в совместничество: должно было ограничиваться тем, что на театральном языке называется *реплика* (la réplique). Разговор или, скорее, монолог его был разнообразен содержанием, богат красками и переливами оттенков. Он хорошо знал историческое царствование Екатерины и анекдотическое царствование Павла. Он был довольно искренен и распахист в воспоминаниях и рассказах своих. То отчеканивались на лету живые страницы минувшего, то рассыпались легкие, но бойкие заметки на людей и дела текущего дня. Он, в продолжении речи своей, имел привычку медленно и, так сказать, поверхностно принюхивать щепотку табаку, особенно, пред острым словом, или при остром слове; он, табаком, как будто порохом, заряжал свой выстрел.

Ходили слухи, и кажется в печати было передаваемо, что память о злополучной катастрофе Верещагина сильно подействовала на последние годы жизни его, что она смущала и тревожила его бессонные ночи, пугала видениями и так далее. Худо варится мне этим указанием. Нет сомнения, что весь 1812 год был способен потрясти сложение его, физическое и нравственное. Он вынес эту грозу на плечах своих. Последствия благополучные, которые увенчали эту годину народною славою и возвысили некоторые имена, так сказать, миновали его. Он остался в стороне, разве одни нарекания и общее неудовольствие пали на долю его. Из всей этой исторической драмы, в которой мог он вполне признавать себя в числе лиц действующих, на первом плане, вынес он одно оскорбленное чувство честолюбия, оскорбленное сперва двусмысленными к нему отношениями князя Кутузова, потом -- по его понятиям -- неблагодарностью Москвичей, а в конце всего охлаждением, почти до неблагоприятия, Императора Александра. Это чувство выразил он, хотя и шутливо, но довольно верно и с оттенком грусти, в своем четверостишии: *J'ai voulu être Romain, et les Russes m'ont fait Georges-Dandin*. Между всем этим, может быть, и смерть Верещагина осталась темным пятном в памяти его; но она не легла незагладимым и неискупимым грехом на совести его. Ни в письмах его, ни, сколько мне известно, в самых потаенных разговорах его с приближенными ему людьми (например, с Александром Яковлевичем Булгаковым, от которого мог бы я узнать правду), нигде не отозвалась трагическая нота, которая звучала бы угрызением совести и раскаянием. Посмотрите на него в Париже: он вполне и как будто без всякого отношения к минувшему, в совершенной независимости от него, жил Парижскою жизнью, жизнью текущего дня. Он следит за движениями его, посещает салоны и в них завоевывает слушателей себе, охотно посещает театры, особенно маленькие, в которых разыгрывают забавные и веселые пиесы; звучным и громким хохотом своим приветствует он остроумные глупости, с простотою и художеством высказываемые любимцем его, актером Потье (Potier). Встречал я его в Петербурге, между прочим, в салоне Свечиной, в Москве в салоне графини Бобринской, для которой тогда же были им написаны шутливые и остроумные: *"Mes memoires, ou moi au naturel, écrits en dix minutes"*. Можно было при встречах с ним, здесь и там, под наружным блеском, заметить, что в нем уже не было первоначального пыла и увлечения; видно было, что взволнованная жизнь

и тяжкие события прошли по нем и оставили довольно глубокия бразды; видно было неудовольствие жизнью, некоторая усталость, пресыщение, пожалуй, некоторое озлобление; но сердца ноющего под язвою жгучего и тяжелого воспоминания подметить в нем решительно было невозможно. Речь его была еще раздраженнее, суждение о людях еще суровее и оскорбительнее; но при том, были они метки и замысловаты. Говоря вообще о так называемых Декабристах, сказал он однажды: в эпоху Французской революции сапожники и тряпичники (*chiffoniers*) хотели сделаться графами и князьями; у нас графы и князья хотели сделаться тряпичниками и сапожниками.

В доказательство его будто тревожных ночных, Гамлетовских и Макбетовских галлюцинаций указывали на бессонницы его. Да он, гораздо ранее 1812 года, был уже беспощадный полуночник, и полуночник эгоистический. Бывало, когда придет к кому-нибудь на вечер, он засиживается до трех часов утра и далее. Гости разъедутся, хозяин пойдет спать, останется одна хозяйка. В ранней молодости моей, я сам в доме Карамзиных бывал нередко жертвою его ночного эгоизма. Из приличия, должен я был оставаться; иногда весело бывало заслушиваться рассказов его, а иногда и спать хотелось. Но он не любил рано возвращаться домой и выжидал урочного часа своего.

Хочется высказать еще несколько слов по поводу несчастного Верещагина. Дело его заключалось в том, что в 1812 году перевел он из запрещенного No Немецкой газеты прокламацию Наполеона I при вступлении в Россию и сообщал другим свой перевод. Тут преступного, преднамеренного злоумышления еще не видно; еще менее измены Отечеству. Мог быть один проступок. Кто, особенно в молодости, не любопытствует прочесть запрещенную книгу, запрещенную газету! Все это относится, более или менее, к свойственной человечеству слабости прельщаться и лакомиться запрещенным плодом. Вся история человека основана на этой слабости. Но современные, грозные обстоятельства придавали действию Верещагина особенную важность. Ростопчин не мог пропустить его без внимания и без строгого исследования; не мог, как бы то было в обыкновенное время, ограничиться одною полицейскою расправою. На беду Верещагина, к этому присоединилось еще одно обстоятельство: прикосновение к делу почтамтского ведомства. Верещагин познакомился с прокламациею, по сношениям своим с этим ведомством. Ростопчину суждено было на служебной дороге своей препираться с ним. В царствование Павла он сыграл злую шутку над Пестелем: здесь жертвою его пал Ключарев. Московский почт-директор слыл Мартинистом, а в предубежденном уме Ростопчина, Мартинист и государственный преступник -- слова имеющие одинакое значение {Позволим себе напомнить читателю записку графа Ростопчина о Мартинистах, составленную им для Великой Княгини Екатерины Павловны (Р. Архив 1875); тут он приписывает Мартинистам даже замысел цареубийства. Назначенный управлять центром России всего за две недели до Наполеона в Русские пределы, знакомый близко с приемами Наполеона еще с самых первых шагов его политической деятельности, граф Ростопчин не мог вынести, чтобы в Москве таким чутким нервом государственной жизни как почта (близко ему известная при Павле),

заведывал Мартинист, бывший вольноотпущенный крестьянин. П. Б.}. По логической последовательности понятия глубоко вкоренившегося, даже если оно и заблуждение, эти две личности, Ключарев и Верещагин, воплотились в одну; тот и другой -- сообщники в преступном умышлении против безопасности и целостности государства, и еще в какое время? Когда победоносный враг и так угрожает разорением и гибелью! Вот процесс мышления, который мог зародиться и развиваться в голове Ростопчина. Развязку немудрено угадать. Медлить было нечего: Ключарев пока выслан из Москвы, Верещагин отдан под суд. В предании его суду заключается уже приговор его. Все последующее объясняется само собою; не оправдывается -- сохрани Боже! -- но только объясняется.

Между тем, и то сказать: юридического, достоверного исследования смерти Верещагина нет. Положительно только одно: он предан был смерти и на куски разорван чернью. Но какое было личное участие самого Ростопчина в этой кровавой расправе, достаточно не проверено, не решено. Все основывается на отдельных рассказах и догадках. Догадка, что Ростопчин принес эту жертву для личного спасения своего, не заслуживает ни малейшего доверия. Во-первых, всю жизнь свою, характером своим он отражает эту догадку: никто не имеет права опозорить ею имя его. Во-вторых, бояться ему народа, хотя столпившегося пред домом его, было нечего: как Московский генерал-губернатор, оставляющий Москву, не добровольно, а в силу неотвратимых обстоятельств, он имел все возможные способы отвлечь народ и приказать ему собраться для совещания в совершенно противоположную часть города, а сам благополучно при этом выехать другими улицами из города. Впрочем и безо всякого созыва, мог он улучшить удобный час для выезда своего. Скорее уже можно заключить, что, по какому-то роковому вдохновению, он намеренно замедлил отъездом, чтобы сопоставить лицом к лицу народ и того, которого признавал он изменником народу. Ему могло казаться, что в этом жертвоприношении совершает он суровый, но налагаемый на него долг возмездия. Разумеется, понятие не христианское, а более языческое.

В страстном, возбужденном настроении своем, мало ли что могло мерещиться ему? Он мог думать, что один в Москве, Верещагин, один он во всей России, способен радоваться победам Наполеона и вступлению его в Москву. А у самого Ростопчина душа скорбела до смерти о потере Москвы. В ней видел он и потерю России. Впрочем ему некогда и неудобно было рассуждать. Чувства и мысли его были взволнованы и мутны. Он задыхался от скорби и злобы. Он страдал. Страдание и страсть (эти два слова сливаются иногда в одном значении), при натурах подобных Ростопчинской, не могут смиренно покоряться. Страдание производит на них напор и удручение, а они производят взрыв. Вот его и взорвало.

Был слух, что, пользуясь полномочиями данными ему на это время императором, он намеревался вытребовать из Нижнего Новгорода Сперанского, от графа Петра Александровича Толстого. Он в нем также видел государственного изменника. Ему, еще более нежели Кутузову, мог он приписывать падение Москвы. Не ручаюсь за достоверность этого слуха, даже

сомневаюсь в ней. Но, во всяком случае, существование этого слуха показывает, каково могло быть современное мнение о Ростопчине, о характере и ничем несмущаемой и ни перед чем не отступающей решимости его.

Чувствую здесь необходимость оговориться перед читателем. Напрасно видел бы он во мне присяжного защитника *quand t'eme*, во что бы ни стало. Вообще защитники не по убеждению, а, так сказать, по наряду, которые сами не веруют в защиту свою и в право защищаемого на оправдание, возбуждают во мне сомнение, а уже никак не желание следовать примеру их. Я просто объясняю: очищаю вопрос от прилепившихся к нему паразитных обстоятельств, можно сказать, сплетней.

Впрочем и я не предрешаю и не разрешаю вопроса: предлагаю одни догадки свои, более умозрительные и психические, нежели юридические. За неимением положительных и достоверных улик, и такие догадки имеют право на голос.

Знавал я людей, которые выдавали себя за очевидцев помянутой драмы; не сомневаюсь, что они и были очевидцами. Но очевидение не есть еще достаточный авторитет. Уголовные тяжбы представляют нам примеры разноречивости в показаниях свидетелей. И не то, чтобы иные хотели затемнить истину: нет! Они просто сбиваются, потому что впечатления часто сбивчивы, потому что сами глаза часто сбивчивы. Мои очевидцы также не совсем бывали согласны в показаниях своих. Да к тому же они не имели свойств, которым свидетельства могут запечатлеться историческою достоверностью. А мы вообще очень легковжны; мы охотно верим всем и всему. Печать наша не всегда и недовольно тщательно пропускает чрез сито очистительной критики предания, рассказы, анекдоты, которые попадают ей под руки. Зерна, отребье, плод, шелуха, сбыточное и несбыточное, возможное и невозможное, ложь и правда, все валится, как оно есть, неочищенное, непроверенное, непроцеженное.

В заключение повторим, что прямое участие графа Ростопчина в смерти Верещагина положительно и юридически не доказано; следовательно считать его виновным в той степени, какую обыкновенно приписывают ему, незаконно и несправедливо.

Таким заключением я и себя обвиняю. Катастрофа Верещагина сильно, в свое время, меня взволновала. С той поры, отношения мои к графу Ростопчину очень изменились и таковыми остались до самой кончины его. Когда старший сын графа был посажен в Парижскую долговую тюрьму, в то самое время, в которое был в Париже и отец (впрочем уже несколько раз выкупавши сына из долгов), я негодовал на подобное родительское жестокосердие. Помню, что тогда писал я из Варшавы Карамзину, что заточение в тюрьме молодого Ростопчина служит дополнением к смерти Верещагина. Карамзин очень любил и уважал Ростопчина; в ответ на мой резкий отзыв получил я порядочную головомойку. Нечего и говорить, что Карамзин не мог бы примириться ни с каким смертоубийством; но он не мог и решиться на обвинение человека без неопровержимых улик и суда.

Таково теперь мнение и мое.

Поболее беспристрастия и терпимости еще не есть равнодушие. Молодость прежде всего впечатлительна и неразборчива; в молодости чувствуешь сильно и благодушно, но часто опрометчиво. Когда поживешь, начинаешь более и обдуманнее испытывать.

Князь Вяземский.